

ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК

Библиотечка газеты

Залман Кауфман

НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ

ПЕТРОЗАВОДСК 2003

ББК 84 (2 Рос)
К 30

Еврейская община Петрозаводска
выражает благодарность общине

Дитрих-Бонхоффер-Кирхе (Тюбинген, ФРГ)

за помощь в издании этой брошюры.

Кауфман, Залман

К 30 Невыдуманные рассказы/Залман Кауфман; Еврейская религиозная община. –
Петрозаводск: Принт, 2003 (Библиотечка газеты «Общинный вестник»; вып.7)

ISBN 5–900726–13-4

МОТЬКА

Чернигов – родной и дорогой сердцу город. Когда-то он был тихим, спокойным и уютным, утопающим в зелени садов и бульваров, пропитанный щедрым южным солнцем. В те далекие годы небо над ним казалось более высоким и более голубым. С рассвета и до поздней ночи по нему с визгом носились огромные стаи ласточек и стрижей, а еще выше широкими кругами парили длинноногие и длинноклювые аисты – лелеки, тренируя крыло перед осенним отлетом. Город расположился на правом берегу красавицы Десны, тогда еще полноводной и широкой. По ней вверх и вниз, хлопая по воде широкими плечами, ходили пароходы, волоча большие деревянные баржи, доверху нагруженные дровами, стройматериалом или рогожными мешками с аппетитной вяленой воблой. От реки, даже в жаркие дни, тянуло прохладой и сыростью, от плотов, сплавляемых из брянских лесов, запахом подгнивающей древесины, а с противоположного берега – горьковатым и одуряющим ароматом степных трав. Другую сторону города обрамляли безбрежные поля созревающих хлебов. Как было приятно бегать по тропинкам во ржи, босой ногой касаясь теплой и мягкой полевой пыли, или слушать, захлебывающихся и порхающих на одном месте хохлатых жаворонков. Этот чудесный край одни называют матерью-ненькой, другие – песней. Здесь прошло мое босоногое детство. Прошло, пролетело, кануло в Лету, рассеялось как далекий призрачный мираж. Осталась лишь тоска и щемящая сладость воспоминаний...

Чернигов расположен в черте оседлости. Видимо Б-гу было угодно переселить сынов Израиля с берегов Иордана на берега Десны. Еврейское население города составляло его большую половину. В основном это были мелкие ремесленники, бедняки, день-деньской не разгибая спины, зарабатывающие свои тяжелые копейки. Они были очень хорошими мастерами. Многие их профессии сейчас почти забыты и упоминаются лишь в старых рассказах: модистки, чулочницы, шляпочницы, заготовщики, шорники, бондари, извозчики, папиросницы, уличные продавцы бубликов с маком, коржиков с корицей, маковников с медом. Их удивительный вкус теперь уже никто и никогда не узнает.

Двор, в котором я жил, был большой, в нем проживало больше сотни человек. Не двор – местечко. В центре его росло несколько груш и яблонь, но фрукты редко созревали – мы, мальчишки, их срывали еще зелеными. За домами был огромный пустырь, заросший густым высоким бурьяном. Я любил, забившись в траву, часами наблюдать за жизнью разных букашек, сновавших по травинкам.

Наши дома отапливались дровами. Их в больших количествах заготавливали с лета. Во дворе этим занимался старый горбун Шило. Никто не знал, что это – фамилия или прозвище, но он всегда охотно отзывался. Шило всему двору пилил, колот и складывал дрова для просушки. За это его кормили и платили какие-то гроши. Он был одинок и любил нас, дворовых мальчишек. Отдыхая, Шило выдумывал различные удивительные истории. Однажды он рассказал о том, что существуют летучие мыши, несущие на голове маленькую золотую корону. Если такую мышь поймать в субботнюю ночь и принести в дом, то его постигнет счастье. Поймать мышь совсем просто. Надо расстелить на земле белую простыню, ее белизна ослепит привыкшую к темноте мышь, и она упадет на простыню, останется лишь принести ее в дом. Этот простой рассказ запал в наши детские души, каждому хотелось счастья своему далеко не барскому дому. Мой товарищ Мотька, сын резника, небогатого и набожного человека, решил на этот достойный поступок, сделав меня сообщником. Ближе к вечеру, когда в доме никого не было, он достал из комода большую свежевystиранную простыню, и мы ее запрятали на пустыре. Время до вечера тянулось необычайно медленно. Часы стали какими-то длинными, растянутыми, солнце почему-то зависло и не хотело прятаться, как обычно, за край крыши. Наши обычные игры не ладились, мы слонялись по двору, посматривая на небо. Наконец-то тени постепенно стали сгущаться, повеяло вечерней прохладой, воздух

превратился в фиолетовую дымку. Где-то высоко в потемневшем небе робко выглянула одинокая звездочка, за ней еще одна и еще.

Расстелив на земле простыню, мы запрятались, чтобы не отпугнуть всевидящих мышей. Застыли в ожидании. Стало совсем темно, из-за черных густых деревьев выплыла большая луна. Евреи пришли из синагоги, в домах зажглись свечи. Святая Суббота опустилась на город. А нам все не везло. Какие-то тени проносились над нами, но простыня почему-то их не ослепляла. Мы уже устали, и наш охотничий пыл стал заметно остывать. Что поделаешь? Видимо, не суждено. Мотя предложил идти домой. Но вдруг из темноты что-то живое вырвалось на простыню. Мышь! Конечно, мышь! Мотья даже заметил на ее голове золотую корону. О, какое счастье! Сердца забились быстро, быстро. Мы на секунду оторопели, но затем бросились к простыне и стали ее лихорадочно сворачивать.

Дома у Мотьки уже все было готово к встрече Субботы. На вышитой праздничной скатерти стояли зажженные свечи, халы накрыты накрахмаленной салфеткой, возле каждого из домашних стояла тарелка, а в центре стола – большая супница с вкусным бульоном с домашней лапшой. Возле отца стоял бокал с вином, он приготовился к церемонии Киддуша. Но в это время мы ворвались в дом. Ударом ноги распахнув дверь, с горящими глазами, задыхаясь от радости и перебивая друг друга, бросили на праздничный стол скомканную простыню и стали ее разворачивать. Нам не терпелось показать наш трофей, всех обрадовать, приятно удивить. Вот мы какие! За столом никто ничего не понимал, все застыли с широко раскрытыми глазами. Вдруг из щели в простыни на стол выползла огромная жаба и, сделав несколько шагов, прыгнула в сторону Мотькиного отца. В доме воцарилась гнетущая тишина. Мотья запнулся на полуслове, весь сжался, уменьшился в размерах, даже как-то потемнел, его возбуждение как рукой сняло. Первым пришел в себя отец. Он все понял по-своему. Конечно, ему были хорошо известны песенки, которым нас научили в пионерском отряде: «Долой, долой монахов, раввинов и попов, залезем мы на небо и сбросим всех богов». Не было никаких сомнений – Мотья, этот босяк, надсмеялся над его религиозными чувствами, над святой Субботой. Расправа последовала мгновенно. Мотькина голова была зажата между отцовскими коленями, и ремень, несмотря на Субботу, быстро сделал Мотькин зад синевато-розовым. Мне было гневно указано на дверь. После этой экзекуции Мотья несколько дней ел стоя и несколько ночей спал на животе. Какая вопиющая несправедливость! Он так хотел принести в дом хоть немного, хоть чуточку счастья. Б-г видит, как он этого хотел!

НИНА

На уроках физкультуры, когда класс выстраивался в шеренгу по росту, строй неизменно замыкался мной. Я был не только самым маленьким, но самым худым, слабым, болезненным, с тощей шеей, узкой цыплячьей грудью, тоненькими ножками и ручками. Мальчишки избегали брать меня в свои игры, боясь что-нибудь во мне сломать. Я всегда стоял в стороне и с тоской и завистью наблюдал за их веселой возней. Почти все мои одноклассники были рослыми, здоровыми обычными ребятами, а девчонки, еще недавно гадкие утеныши, на парном молоке и добротном сале быстро превратились в цветущих девушек с округлыми привлекательными формами и румянцем во всю щеку, хотя их психика все еще оставалась явно детской, не поспевающей за развитием тела.

Однажды, на большой перемене я, как обычно, стоял в стороне и наблюдал за разыгравшимися, раскрасневшимися мальчишками, гонявшимися друг за другом. Незаметно ко мне подошла Нинка, дородная девица из нашего класса, и, схватив, взяла на руки, прижав к себе как маленького ребенка. Я стал вырываться, но ее сильные руки плотно запеленали меня: «Ну, чего, маленький, плачешь, кушать хочешь? Сейчас я тебя манной кашкой накормлю, ну, успокойся, перестань хныкать». Ребята и девчонки, увидев

эту картину, смеясь, окружили нас. Какая-то дуреха посоветовала: «Нин, он молочка хочет, дай ему титьку», и Нинка стала расстегивать пуговку на блузке. Все взорвались от смеха. От стыда и унижения я схватил Нинкину руку и сильно укусил. «Дурак»,- вскрикнула она и, разжав объятия, выпустила меня из плена. Забравшись в отдаленный уголок школы, я горестно заплакал. Ну, в чем моя вина, что я не расту, что я такой никчемный, хилый, но я не глупее вас. Это вы, дылды, списываете у меня домашние задания, это меня прикрепляют, чтобы подтянуть вас по математике. Ничего, сильным может быть и маленький. И я решил стать сильным.

При городском Дворце пионеров функционировала школа бокса, и я отправился туда. Придя на занятие, разделся и стал в шеренгу. Преподаватель меня сразу заметил:

- Ты кто такой?

- Хочу стать боксером, – робко признался я.

- Ты?! Боксером?! А ну-ка быстренько оставь зал!

Но я зал не оставил. Смешавшись с ребятами, стал вместе с ними отрабатывать боксерские приемы. Мне, как и многим мальчишкам моего возраста, начитавшихся Джека Лондона, Кервуда, Ирвинга, очень хотелось попробовать боксерские перчатки. Казалось, что, надев их, сразу приобретешь силу, мужество и выносливость их героев. И я с нескрываемой радостью натянул перчатки. Ко мне подошел какой-то верзила, предложив отработать удар прямой правой. Правой, так правой, и я встал в стойку. Первым же ударом он выбил мне челюсть. Я испугался, громко застонал. В зале поднялся шум. Тренер, подойдя, довольно быстро ее вправил, чем успокоил меня и ребят. После этого, не совсем педагогично, но вполне по-боксерски, легонько шлепнув по тому месту, где спина кончает свое благородное название, выдворил из зала: «Чтоб духа твоего больше здесь не было!»

Но в моем хилом теле жил негибемый характер. Я во что бы то ни стало решил стать сильным. К занятиям тяжелой атлетикой явно не годился: у меня не было сил, чтобы поднять даже пустой гриф штанги, да и мальчишек туда не принимали. Борцовской школы не было, и я пошел в школу спортивной гимнастики.

Начало было таким же: разделся и встал в строй. Подошел тренер и критически посмотрел на меня:

- Что, хочешь стать человеком?

- Хочу, – без всякой надежды протянул я.

- Ну, что ж, попробуем.

Мне выдали спортивные трико, тапочки и майку. Моего размера не нашлось, и одежда висела на мне, как на вешалке. Маме пришлось ее ушить, и я начал заниматься спортивной гимнастикой. Было мучительно трудно, я падал, сильно ушибался, однажды меня даже отвозили домой на извозчике (такси в те годы еще не было, даже скорая помощь, или карета скорой помощи, была конной), очень уставал, далеко не все и не всегда получалось, но я упорно посещал занятия. Так прошел год, за ним второй и третий. Я изменился до неузнаваемости. Вырос, окреп, раздался в плечах, у меня выработалась фигура, характерная для гимнастов: стройная, мускулистая, сильная. Для меня не было проблем выполнить сальто, стойку на руках, различные махи или, другие довольно сложные комбинации на перекладине, брусках или кольцах. Мне присудили спортивный разряд, и среди гимнастов я стал своим человеком. Все давно забыли, каким заморышем я пришел. Мы, гимнасты, среди ребят пользовались уважением, а среди девушек – успехом. Многим из них хотелось поближе познакомиться, завязать дружбу.

Однажды в августовский жаркий день я сидел во дворе и читал, затем зашел в дом выпить воды. Дома никого не было, лишь на кухне сидела Настя – знакомая крестьянка из далекой деревни. Приезжая в город, она всегда останавливалась у нас, иногда ночевала. Ее муж, напившись, утонул, оставив в 30 лет вдовой. Белая майка плотно облегла мое тело, подчеркивая бугорки мышц и шоколадный цвет южного загара. Настя что-то спросила, посмотрела каким-то неопределенным продолжительным взглядом, подошла и, сняв с меня майку, провела рукой по плечам, спине, шее: «Какой же ты стал парень,

совсем взрослый». Она это повторила несколько раз, затем охватив мою голову, прижала к груди. Лицо погрузилось в какую-то мягкую ошеломляющую упругость, я слышал быстрые удары ее сердца и тихие слова, прерываемые учащенным дыханием. Настя прижалась всем телом. Между нами был лишь тонкий ситец ее платья. Живое тепло пьянило и туманило сознание... Вдруг послышался шум. Наша кухня была проходной, и соседка, громыхая ведрами, прошла во двор к водопроводу. Услышав шаги, Настя мгновенно отскочила и, поправив косынку, отвернула к окну раскрасневшееся лицо. Я остался стоять, еще не все понимая, что происходит... Прошло много лет, но этот случай хорошо помню, а теперь и понимаю тот отчаянный порыв молодой, здоровой и невестребованной плоти.

Отношение ко мне изменилось и в школе и не только потому, что я выступал на вечере во Дворце пионеров, и мне аплодировал зал, просто мы повзрослели, шел последний год нашей школьной жизни. Изменилось ко мне и отношение Нинки, и я этого не мог не заметить. После уроков она поджидала, чтобы вместе идти домой, иногда просила нести ее портфель, когда мне надо было свернуть домой, придумывала повод, чтобы проводить ее, зачастила к нам в дом. Как-то попросила ее поцеловать. У меня в этом опыта не было и я, ткнув губами в ее щеку, смущенно покраснел. Нинка взъерошила мои волосы и победно улыбнулась. К радости мамы энтузиазм с моей стороны был минимальный, просто акт вежливости. У меня не было чем ей ответить, хотя она в классе и считалась красивой, даже очень. Некоторые мои товарищи к ней были весьма равнодушны и завидовали мне. Когда я, служил в армии, Нина забрасывала письмами, в которых без всяких намеков определенно мечтала о нашем совместном будущем.

После войны я сразу восстановился в университет. Домой поехал лишь на следующее лето. Города не узнал, он был весь в битом кирпиче, руинах, пустых глазницах выбитых окон, не догоревших или сожженных зданий. Когда-то до боли знакомые улицы были едва узнаваемы. Еле нашел двор, где должны были жить родители. Открыв калитку, увидел маму. Она набирала из водопроводной колонки воду. Я ее сразу узнал. Постаревшая, похудевшая, плохо одетая. Сердце мое сжалось от боли. Мама равнодушно посмотрела на меня и, согнувшись от тяжести, потащила в дом полведра воды. Я ее окликнул. Она остановилась, не узнавая меня, – ушел мальчиком, пришел – мужем. Я не выдержал: «Мама, ты меня не узнаешь?» Ее глаза увеличились, стали большими, круглыми, и она потеряла сознание. Подняв ее легкое тело, я внес в дом, где ютились мои родители. (Интересно, что его хозяин, хитроватый старик, все еще хранил два портрета: Гитлера и Сталина. Он еще не был уверен, чья власть установится).

Весть о моем приезде мгновенно облетела знакомых, и они целый день приходили повидаться. Некоторые плакали: «Вот ты пришел, а нашего сына нет!» Я чувствовал себя виноватым, будто их смерть была плата за мою жизнь. Конечно, были расспросы о судьбах товарищей, знакомых, друзей, спросил и о Нине. Рассказывали, что она все время оккупации довольно активно сотрудничала с немцами, работала в каком-то немецком учреждении. Ее часто видели разъезжающей в открытой машине с немецкими офицерами и с огромной овчаркой Блонди. Немцы даже привезли Нине рояль, взятый из дома какой-то еврейской семьи. Она хорошо играла. В общем, Нина жила в свое удовольствие, беззаботно и весело. Немцы ее вполне устраивали, даже более того. При отступлении она отступала вместе с ними, дошла до Германии. После войны, никому не нужная, возвратилась домой. Выдавала себя за насильно угнанную в немецкое рабство.

Однажды я ее встретил. Нина меня узнала, ее лицо вздрогнуло, но она сделала вид, что не заметила и прошла мимо. Я ее окликнул. Разговорились. Конечно, услышал легенду о немецком рабстве. Но затем женское любопытство взяло верх, и она кокетливо стала расспрашивать: женат ли, бабы, наверное, прохода не дают?! О себе сказала, что, мол, девушка. Для меня в то время война еще не закончилась, ненависть ко всему, что связано с немцами была жива и свежа. Слишком много ужасного пришлось повидать и пережить. Память была беспощадна: «Да, смогла от немцев рояль родить и остаться девушкой. Интересно! А Блонди где?» Нина вздрогнула, как от пощечины, запнулась на

полуслове, побледнела, сгорбилась, повернулась и побрела шаркающей походкой, как жалкая побитая собака. Позже она вышла замуж, работала воспитательницей в детском садике. Своих детей не было – Б-г шельму метит. А в остальном ее жизнь была вполне благополучной и спокойной. Никто ей не напоминал о не таком уж безобидном прошлом.

Больше я Нину не видел. О чем вовсе не жалею. Думаю, она тоже. Как говорил мой знаменитый тезка артист Гердт: «Видеть вас – одно удовольствие, а не видеть – совсем другое!»

МИШКА

Среди многочисленных соседей по двору, где прошло мое детство, выделялся один – Мишка. Несмотря на вполне зрелый возраст его не называли ни Моисеем, ни Мишей, ни Михаилом, а именно Мишкой. Мишка был высок, статен, с правильными чертами лица, с антрацитовым блеском черных цыганских глаз и копной темных волос. Женщины во дворе о нем говорили вполне определенно: «красавец мужчина». Мишка не пил, не курил, не сквернословил, был деликатен, и двор к нему относился хорошо. Он нигде не работал. Целыми днями лежал на раскладушке в тени деревьев и читал романы. Читал взахлеб, книгу за книгой. Иногда приходил к нам, прося какую-нибудь книгу, лучше о любви. Порой он на несколько дней исчезал, но потом появлялся вновь. Профессия у него была особенная. Мишка был вор. Не какой-нибудь мелкий воришка, а вор, и не только вор, а предводитель всей городской шпаны – воров, бандитов, грабителей. Он совершал удивительно дерзкие налеты на инкассаторов, сберкассы, ювелирные и меховые магазины. Не только совершал, но планировал, организовывал, возглавлял и делил трофеи. Всех недисциплинированных подопечных судил, и очень жестоко. Мишку боялись. Одно упоминание о нем вызывало холодный пот. В этом красивом, деликатном и умном человеке жил беспощадный и жестокий хищник. Не только местная, но киевская и даже одесская шпана старались не портить с ним отношений. Милиция, прекрасно зная все его «дела», предпочитала держаться на расстоянии. У Мишки было оружие, чего он вовсе не скрывал и даже давал нам, дворовым мальчишкам, подержать в руках наган.

Не менее колоритной была и его жена Кейля. По паспорту она числилась Екатериной, русской, но по-русски говорила крайне редко, явно предпочитая еврейский. Всегда вызывало большое удивление, когда эта женщина с явно русским лицом, неожиданно начинала говорить по-еврейски, с типичными интонациями, ужимками и жестами обитателей черты оседлости. Более того, Кейля отмечала все еврейские праздники: в Пасху ела мацу, в Судный день постилась, не крестилась и не ходила в церковь, отмечала лишь Рождество и на Новый год ставила небольшую елку. Многие во дворе, даже не знали, что она русская. У них был сын Изя, которому сделали обрезание, «а как же!» В детстве Кейля была беспризорной. Кто знает, как бы сложилась судьба, если бы ее не подобрали добрые люди и не отвели в детский дом, который был еврейским. В далекие двадцатые годы такие были. Здесь ее не только отмыли, одели, накормили, но и воспитали, обучили, дали профессию. Еврейская среда стала для девочки ее средой. Так Катя стала Кейлей. Позже она работала портнихой. Кейля была красивая: стройная, хорошо сложена, с округлым свежим лицом, с ямочками на щеках. У мужчин она всегда вызывала повышенное внимание. Где пересеклись пути Мишки и Кейли никто не знает, но это была красивая пара. Между собой они жили хорошо. В семье Кейля занималась реализацией Мишкиной «продукции».

Одним из ярчайших явлений в довоенной Украине, несомненно, были базары. К ним готовились, их ждали. В базарные дни уже с рассвета улицы, ведущие к базарной площади, были запружены бесконечными вереницами телег, запряженных лошадьми или волами. На них среди разного скарба на толстом слое сена восседал хозяин с неизменным

кнотом, а позади – хозяйка в ярко вышитой традиционной холщовой белой рубаше и в такой же вышитой, но черной бархатной безрукавке. На шее женщин всегда были цветистые монисты. На базарной площади скапливались тысячи людей, сотни телег, различный скот, привезенный на продажу, горы глиняной посуды, огромные вороха фруктов, овощей, вяленой воблы и другой снеди, масса всякой утвари. Все продавалось и все покупалось.

По базару бродили нищие, на земле сидели слепые бандуристы с длинными казацкими усами, и пели старинные украинские баллады. Конечно, были и вездесущие цыгане с медведем, разные фокусники и аферисты, иногда работала карусель и кукольный театр. Базар бурлил, кишел, гудел. Здесь не только заключали торговые сделки, но и просто встречались старые знакомые, делились новостями или часами болтали ни о чем. Базар на Украине был неотъемлемой частью ее жизни, ее культуры, своеобразным всенародным праздником. Отказаться от такого захватывающего зрелища было невозможно, и я каждый раз, когда мать шла на базар, всячески старался увязаться за ней.

Однажды, пробиваясь сквозь этот шумный человеческий муравейник, мы неожиданно встретили Мишку. Он, остановив нас, попросил не уходить: «Я вам сейчас покажу театр, такого вы в жизни не видели», и он подошел к стоящему здоровенному молодому мужику, продававшему корзину яиц. Поторговавшись, Мишка стал пересчитывать яйца, перекладывая их в подол мужиковой рубахи. Когда все яйца были переложены, Мишка совершенно спокойно расстегнул ему штаны, затем кальсоны и спустил их назем. Мужик остался голый с поднятой рубахой, доверху наполненной яйцами. Такого оборота событий ни мужик и никто другой не ожидал. На секунду все застыли с широко раскрытыми ртами и выпученными от удивления глазами, но затем начал пробиваться смехок, и громкий общий смех покотился по базару. Базар гоготал, ржал и колыхался от неудержимого смеха. Бойкие бабенки визжали, нескромно тыкая пальцем в сторону голого мужика. А несчастный стоял, не шевелясь, боясь, чтобы с рубахи не скатились дорогие ему яйца. Стоял и плакал от стыда, прося, чтобы кто-нибудь поднял ему штаны, но никто не торопился расставаться со зрелищем. Толпа такое любит. Наконец-то нашелся деревенский сосед и помог. Толпившийся вокруг народ еще немного посмеялся и постепенно разошелся. Мишка, сценарист, режиссер и директор этого «театра», довольный своей выдумкой, растворился в толпе. Конечно, это была унижительная, злая, более того, жестокая шутка, но придумать ее мог только умный человек, с большой фантазией.

Позже, когда началась война, Мишка был призван в армию, воевал и погиб при взятии Кенигсберга. Изя, его сын, тоже не пришел с войны. Кейля на старости лет осталась одинокой. Будучи русской, пережила оккупацию. Когда мои родители возвратились из эвакуации, вместо прежнего дома, в котором мы когда-то жили, они застали кучу битого кирпича. Жить было негде, и они ютились прямо на улице, под открытым небом. Мерзли, голодали, болели. Там умерла моя тетья. О них узнала Кейля, нашла, забрала к себе, накормила, обогрела, выходила, спасла от верной и мучительной смерти.

Теперь, когда все они уже в мире ином, думается, что Кейля вполне заслужила, чтобы по ней сказать Кадиш и в йорцайт зажечь поминальную свечу. Она только по паспорту русская, но душой, вне всяких сомнений, еврейка. Только никто не знает, когда и где похоронена. Она пережила моих родителей.

СУЛЯ

Шел второй год войны. Артиллерийский полк, в котором я служил, стоял в лесу. Тяжелые гаубицы были оттянуты на несколько километров от линии фронта, а мы, разведка, глаза и уши батареи, находились на самой передовой. Впереди лишь узкая ничейная полоска, да передовые отряды немцев. Иногда были слышны немецкая речь или игра на губной гармошке. Мы не только вели корректировку стрельбы наших орудий, но ходили в разведку, выясняя обстановку, а иногда и в тыл или за «языком».

Готовилось наступление, требовались свежие разведанные и меня вызвали в штаб дивизиона. Получив задание, я собрался к себе на передовую, но начальник штаба попросил проводить на батарею девчонку-связистку, только что прибывшую в наш дивизион. Это было мне по дороге да, и что лукавить, просьба уж очень была приятной, даже обрадовала. Взяв ее шинель и небольшой узелок вещей, мы зашагали. Тропинка шла по широкой лесной просеке. Была середина лета, выдался великолепный солнечный день. В лесу было сонно и немного душно. Небо над просекой казалось особенно синим, а плывущие по нему перистые облака излучали яркую белизну. Лес был до краев наполнен густой тишиной, лишь иногда какая-то птаха пробовала свой голос, да порой ветерок лениво пробегал по дремлющим листьям. День был на редкость мирным - ни единого выстрела, ни крика, ни шума. Мы шли и оживленно беседовали. Мою спутницу звали красивым, но редким именем, Суламифь, или просто – Суля. Родом она из Куйбышева-Самары – самаритянка, более того, прекрасная самаритянка. На это Суля сдержанно улыбалась. Мое, тоже далеко не частое имя, у нее не вызвало удивления. Мы говорили обо всем и ни о чем. Суля рассказывала о родном городе, маме, школе, которую только что закончила, о коротких курсах связистов. Я с интересом слушал о полузабытой гражданской жизни. Мне нравилась сулина манера рассказывать и не только это. Я с нескрываемым интересом наблюдал за живыми темными глазами. Мне была приятна ее ладная фигурка, затянутая в еще новую гимнастерку, смуглый румянец, выразительные руки. Суля мне нравилась и не только потому, что я давно не общался с девушками... Иногда, когда тропинка сужалась, наши руки соприкасались, но никто из нас не спешил их разъединить. Мы были молоды и, как нам тогда казалось, счастливы. О том, что вокруг полыхает война, как-то даже не думалось. Забыл я и то, что ночью придется идти в разведку, и кто знает, может в последний раз...

Где-то на полпути мне надо было на время отстать. Суля все поняла и, убыстрив шаг, пошла одна, а я свернул с просеки в лес. Вдруг с ужасным ревом и свистом над самыми вершинами деревьев вдоль просеки на бредущем промелькнула огромная тень и там, где должна была быть Суля, раздался оглушительный взрыв. Качнулась земля и в небо взметнулся черный фонтан с алыми языками пламени. Горячий ветер, ломая ветви, полыхнул по деревьям. Когда я прибежал, никого не было. Суля! Где Суля?! Зияла лишь большая свежая воронка, из которой торчал присыпанный землей порванные кирзовый сапог, наполненный каким-то кровавым месивом, да зацепившись за ветку, качался одинокий погон. У меня перехватило дыхание, кровь застыла в жилах... Суля, Суленька, мой Сулененок, где ты?! Что случилось?! Нет, только не это. Этого не могло, не должно быть! Почему? За что? Мысли хаотически металась в возбужденном мозгу. Я верил и не верил... Ведь только что, минуту назад, мы были вместе, я слушал ее рассказ, ощущал ее дыхание. Минуту назад мы были счастливы, и ничто не предвещало беды. Я хотел ее снова видеть, слышать, прикоснуться к ее руке... О, боже! Почему так не справедливо, почему нельзя воскресить минутную давность?! Я стоял на краю воронки, на месте, где только что стояла Суля, убитый беспомощностью и бессилием перед случившимся, и слезы, первые мужские слезы, навернулись на моих глазах и медленно текли по щекам...

Суля погибла, погибла на войне, которую не видела. Погибла, так и не узнав, что такое война, ни разу не слышав, как свистят пули, как зловеще шуршат пролетающие снаряды, как стонут смертельно раненные.

Она даже не видела немцев, ни живых, ни мертвых...

ЛЮСЯ

Полустанок Тавда, затерянный в безбрежье Северного Урала, был конечным. Здесь рельсы обрывались, упираясь в несколько шпал, положенных друг на друга пирамидой. Вокруг сплошной стеной стояла мрачная пугающая тайга. От полустанка на десятки километров вглубь леса уходила узкоколейка, а после нее еще длинные лежневки для лесовозов и лишь в конце их обосновался никому не ведомый поселок со странным нерусским названием Киртым -Я. В центре его располагался один из многих тысяч гулаговских лагерей. Опасаясь сговоров, побегов или восстаний, администрация через какое-то время перебрасывала заключенных в другие, еще не знакомые места. Так и я, после многих лет лагерей оказался в этом Киртым -Я. И снова уже хорошо знакомый лесоповал, и снова день-деньской тяни опостылевшую пилу: тебе - себе - начальнику...

Чем дальше в глушь, тем условия хуже: начальство больше ворует. И без того мизерная норма до работяг доходила лишь в виде жиденькой баланды, где плавали лишь несколько крупинок да кожура от картошки. Немыслимая физическая нагрузка и низкокалорийная пища быстро приводили к дистрофии. Силы и у меня стали заметно таять, стал доходить. Перспектива самая мрачная. Я это понимал, но ничего предпринять не мог. Кому скажешь? Закон – тайга, прокурор – медведь!

Однажды, работая в лесу, я сильно поранил ногу и вечером пошел в больничку – лагерь медпункт. Очередь была большая. Я сел крайним на длинную скамейку, согрелся и, прислонившись к стене, крепко уснул. Сколько времени проспал не знаю, но меня разбудил женский голос. Его тембр показался каким-то знакомым, где-то я его уже слышал. С трудом раскрыл глаза. В коридоре больнички я сидел один. Передо мной стояла женщина в белом халате и трясла меня за плечо. Окончательно проснувшись и придя в себя, обомлел. Передо мной стояла Люська. Люська, с которой я вместе проучился в одном классе десять лет. Я ее сразу узнал. Люська была лучшей ученицей нашего класса, только ей, и иногда мне, были под силу каверзные уравнения с тригонометрическими функциями. Она не была красавицей, за ней не увивались мальчики. Небольшая, кругленькая, черненькая. Моя тетя, увидев ее, сразу точно окрестила: "Перчинка". Так это школьное прозвище к ней и прилипло. Конечно, Люська изменилась. Исчезла беззаботная улыбка, нет и толстой в руку косы, обвивавшей ее голову, глаза потускнели, в их углах появились чуть заметные предательские лучики. Она меня также узнала. Вопросы были приблизительно одинаковыми: «Как? Почему? Каким образом?» Люська больше слушала, меньше отвечала, я лишь понял, что она старший лейтенант, жизнь у нее не сложилась, она – одна. Люся была очень взволнована, достав из пачки папиросу, жадно затянулась. Люська курит! В те годы курящая женщина была большой редкостью.

Перевязав мне ногу и воспользовавшись тем, что мы одни, она успела меня предупредить, чтобы ни одна душа не знала, что мы знакомы, иначе будет очень плохо, не только мне, но и ей. Я удивился: «Что может быть еще хуже?» «Урановые рудники!» - Люся это сказала открытым текстом, прямо. В лагере стукачей – каждый второй. Уходя, я ей намекнул, может ли она в чем-то мне помочь. Например, сделать своим помощником, я все же биолог, работал какое-то время в больнице, хорошо владею всей фельдшерской техникой. Но она на это промолчала.

Прошло довольно много времени, и я уже потерял всякую надежду, но однажды утром, когда бригады разводили на работу, ко мне подошел надзиратель и повел на вахту. Там мне вручили медицинскую сумку с медикаментами. Теперь я буду оказывать экстренную медицинскую помощь, а она в лесу требовалась часто, случались разные несчастные случаи. В этом, конечно, была рука Люси. Она оказалась более порядочной, чем я о ней думал. Вечерами, после работы в лесу, помогал ей на приеме, ухаживал за лежащими. Я чувствовал, что моей работой Люся довольна. Кроме того, она мне доверяла, что в тех условиях было совсем немало. Между нами сложились рабочие, строго официальные отношения. Ее предупреждение я всегда помнил.

Через несколько месяцев мне поручили обслуживание и гражданского населения поселка, сделав бесконвойным. И в этом несомненно была заслуга Люси.

Поселок был небольшой и состоял из щитовых домиков, в которых жили военные, вольнонаемные и размещались разные службы. Военных обслуживала Люся, меня туда не допускали. Гражданские были из крестьян или из бывших эков. Жили по-разному. Иногда в дом войти было страшно – не квартира – берлога. Грязь непролазная, немые окна, на полу окурки, вместо стола – перевернутый кверху дном ящик, вместо постели – ворох грязного тряпья, пустые водочные бутылки. К телам, пахнувшим потом и несвежим бельем, противно прикоснуться. Но были и другие. Чистые, ухоженные квартирники, намытые белые полы, покрытые самодельными дорожками, застланные цветными покрывалами кровати, на стене коврик с традиционными лебедями, фотографии и картинки из «Огонька». Почти все население имело огороды, кур и свиней, а некоторые – овец и даже коров. Но полное отсутствие каких бы то ни было развлечений: ни радио, ни книг, изредка доставлялись газеты и еще реже солдатам привозили устаревшие фильмы. В поселке это воспринималось как праздник. Особенно скучали нигде не работающие женщины. Если летом какое-то время приходилось уделять внимание огородам и хозяйству, то зимой жизнь становилась совсем безликой, однообразно серой, даже мой приход вносил какое-то оживление. Иногда именно поэтому меня и приглашали, придумывая несуществующие хвори. На мой вопрос, где болит, всегда отвечали одинаково: «внутри». Чаще других приглашала жена одного из надзирателей, аккуратная и в общем-то, красивая женщина. Я еще не успевал вытереть ноги у порога, как она уже, расстегнув пуговицы на блузке, с удовольствием демонстрировала здоровое тело молодой кобылицы. Дав лизнуть какое-нибудь пустячное лекарство, быстро уходил, к явному неудовольствию пациентки. На приглашение попить чай или угоститься я отвечал неизменным отказом. Я знал, что стены имеют глаза и уши, за мной с интересом следят со всех окон, а я слишком дорожил своим положением. Но от гонораров в виде пирожков, ватрушек, колбасы или яиц не отказывался. Я быстро встал на ноги, набрал утерянный вес, кожа разгладилась и порозовела, в волосах снова появился матовый блеск. Я даже стал подкармливать близких по духу эков.

Для увеличения добычи древесины в лагерь завезли электропилы и передвижную электростанцию с газогенератором, работающем на дровах. Напиленные кусочки сухой березы загружали в объемный бункер, где они подвергались сухой перегонке. Образующийся при этом газ, подобный выхлопному в автомашинах, приводил в действие электростанцию. Всем этим управлял Артур Вибе – русский немец из-под Одессы, профессиональный шофер. Во время войны служил в немецкой армии, работая на душегубке – закрытой машине внутрь которой выводилась выхлопная труба. Машина до отказа набивалась евреями, и пока их привозили за город, где были вырыты огромные рвы, все уже были мертвы. Их выгружали, и машина следовала за новой партией. Однажды произошел исключительный случай. При выгрузке на самом дне оказалась живая девушка. Удивленные полицаи даже хотели ее отпустить, мол, уж если повезло, то пусть живет, но ее все же пристрелили. Артур об этом и о других подобных случаях рассказывал совершенно спокойно, хладнокровно, ни одна мышца не дрогнула на его лице. Это была его работа, работа палача. И даже теперь он ни о чем не сожалел. Артур часто удивлялся, как я выжил, он думал, что все евреи давно уже уничтожены.

Однажды, когда я находился в лесу, ко мне прибежал другой немец, Артура друг, весь взмыленный, взволнованный, вспотевший и, задыхаясь, простонал: «Беги скорей, Артур умирает!» Странный парадокс: я, сидевший за любовь к своему народу, должен был спасать жизнь его убийце... Когда я пришел, Артур лежал возле газогенератора, неловко подвернув под себя руку. Остекленелые глаза тупо смотрели в небо. Пульса не было, зрачки не реагировали на свет. На морозе он быстро остывал, и снег на его ладони уже не таял. Трубка, подающая газ из газогенератора, засорилась. Артур ее отвинтил, прочистил, продул и при этом невольно надышался газом. Я был ошеломлен! В лесу, на чистейшем воздухе умер Артур! Умер от того же выхлопного газа, которым травил

тысячи безвинных душ... Я не верил в мистику, во всякие предначертания судьбы, в чудеса, в Высший суд, но Артур мертвый, как доказательство, лежал передо мной... Что это, случайность или справедливое возмездие?! Конечно, в принципе могло быть и случайное стечение обстоятельств, но вероятность его бесконечно мала и осуществление равно нулю. Это, и еще день 9 ава, в который случались все большие беды еврейского народа (почему в разные годы, даже в разные столетия, но всегда в один и тот же день?!) сильно поколебали мои философские устои...

Вскоре меня освободили. В последний раз я зашел в больничку. Люся, задумавшись, смотрела в окно и нервно глотала папиросный дым. Конечно, она уже все знала. Я отдал сумку с медикаментами, взял ее руки и горячо поцеловал. Люся ко мне прижалась и, положив голову на плечо, что-то невнятно и тихо шептала. Но в это время в коридоре раздались шаги – за мной пришел надзиратель, чтобы проводить на вахту. Я в последний раз обернулся. Люся стояла одинокая и растерянная. В уголках ее глаз блестела слеза... Она плакала. Думается, что мой внезапный отъезд еще одну ее надежду сделал несбыточной. Больше Люсю я не видел.

ГЕРБЕРТ

Мое место было на верхних нарах. Забираться туда после изнурительного тяжелого дня работы было не всегда просто, но зимой, когда печи под утро остывали, а жестокий сибирским мороз прошивал насквозь тонкие стены барака, на верхних нарах было чуть теплее. Моим соседом был Герберт Флинк, немец могучего телосложения, попавший к нам в плен, а затем осужденный на предельный срок, как и я, воевавший против него...

Герберт был эсэсовцем и служил в личной охране Гимmlера. Как и у всех эсэсовцев и других особо ценных для Рейха категорий, у Герберта подмышкой была татуировка группы крови, на случай быстрого оказания медицинской помощи. О своей военной жизни и о том, за что осужден, он никогда не рассказывал и у меня не расспрашивал – в лагере это не принято. Мы работали в далекой тайшетской тайге на лесоповале, валили лес для строек коммунизма. Я работал с Гербертом на одной пиле. Норма была очень высокой и забирала наши последние силы, но ее выполнение давало возможность получения пайки хлеба и хоть как-то продержаться на ногах, не став дистрофиком.

Вечером после работы, забравшись на нары, мы часто беседовали, просто так, обо всем и ни о чем. Я, зная немецкий язык, иногда по памяти читал ему стихи. Герберт был внимательным слушателем, иногда и сам просил что-нибудь прочесть. Так или иначе, но большую часть времени нам приходилось быть вместе. Мы привыкли друг к другу и даже сдружились. Если Герберт где-нибудь случайно доставал что-нибудь съестное, всегда делился со мной. Летом, когда удавалось собрать немного грибов, мы их варили и съедали с одной миски. Он, конечно, знал мою национальность, тем более, что я ее никогда не скрывал. Национальная мимикрия всегда вызывала у меня чувство брезгливости. Но в разговорах никогда не затрагивал еврейскую тему, в отличие от бывших полицаев, также сидевших с нами.

Однажды мы работали в лесу. Зимний лес казался далекой детской сказкой, Наступал вечер. Тени от деревьев удлинились и из голубых превращались в синие. Мы закончили работу и сидели у догорающего костра. Угли то ярко вспыхивали, то затухали. Усталость и тепло разморило нас. По телу разливалась приятная дремота. ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Сидеть бы так и смотреть на последние блики костра... Неподалеку от нас работала другая пара – молодой белорус и пожилой всегда угрюмый украинец. Оба они были полицаями. В отличие от Герберта, не скрывали и охотно рассказывали разные эпизоды своей военной жизни, даже бравовали этим. Тело и душа у них были в еврейской крови. Евреев люто ненавидели. Сейчас они также

сидели у костра и тихо о чем-то беседовали. Затем молодой снял с веточки сушившуюся рукавицу, намазал ее какой-то дрянью, дополнительно присыпал раздавленным углем, И, подойдя к нам и широко улыбаясь, размазал все это на моем лице: "Ых, жидюга!" Я оторопел. Обычно мирный и выдержанный, вскочил, во мне проснулся бывший фронтовой разведчик. Рефлекс сработал мгновенно, и я резким коротким в челюсть пустил его в глубокий нокаут. Он упал как подкошенный. В уголке рта появилась маленькая алая капелька, быстро переросшая в тонкий ручеек. На снегу возле его лица возникло все увеличивающееся красное пятно. Его напарник, увидев это, подбежал, схватив топор, занес его над моей головой. Положение мое стало безнадежным. Ни отбежать, ни увернуться – снег по пояс, да и под рукой ничего не оказалось, мой топор лежал далеко, защититься было нечем. Смерть была неминуема. Я закрыл глаза, увидел лишь искаженное злобой лицо, да острие топора. В голове пронеслось: «Все. Конец».

В лагере убийства были нередки. Они почти не наказывались, разве несколькими сутками карцера, на долго не сажали – нужны рабочие руки. Убийства нередко провоцировались самим лагерным начальством, специально натравливая одних на других, чтобы предупредить сговоры, массовые побеги или даже восстания. Иногда выдавали стукачей на растерзание толпы, если они плохо справлялись с работой.

Но вдруг, как разжатая пружина с непонятым криком, скорее ревом, к нему наперерез рванулся Герберт и сильным ударом ногой в живот, опрокинув его в снег, выбив из рук топор. Все это произошло мгновенно, и я еще ничего не понял. Герберт был очень бледен и тяжело дышал. Мои ноги потеряли упругость, стали ватными и я опустился на снег. На лице выступили капельки не то холодного, не то холодеющего пота...

Прошла зима, прошла весна. Постепенно острота этого случая притупилась. Мы никогда о нем не вспоминали. Наступило удушливое таежное лето. От переполнившего тайгу гнуса – комаров и мошек она тихо стонала. Тучи их были настолько огромны, что даже солнечный день становился каким-то серым, пасмурным. Приходилось работать в накомарниках, плотно застегиваться и завязываться, но они проникали везде, мучили и кусали наши несчастные уставшие тела. Конечно, нам было плохо, но особенно тяжело было лошадям, вывозившим бревна из леса к штабелям, расположенным у дороги. Их брюхо покрывалось сплошным кишасщим слоем кровососов, превращалось в сплошную кровавую рану. Нас некому было жалеть, но лошадей было до боли жалко. Иногда, когда лошадям было особенно невмоготу, дни активировали, делали их нерабочими, и мы в такие дни, выражаясь по-лагерному, кантовались, просто валялись на нарах, отдыхая, благодарили комаров.

В один из таких дней я и Герберт, лежа на нарах, болтали о всякой всячине, о том, что вечно мы здесь не будем, что наступит время и мы разъедемся по своим родным местам: я – в Ленинград, а он – в Берлин. Я говорил о том, что время сейчас беспокойное, все может случиться, даже война и нас, его и меня, снова призовут под ружье. Я фантазировал: кто знает, на этот раз в плен могу попасть я. Поможет ли мне Герберт, с кем рука об руку прошли все лагерные муки, который спас мне жизнь. Я был уверен, что Герберт усмехнется и скажет, ну, конечно, а как же иначе, даже по-дружески положит руку на плечо. Герберт, молча меня слушал, затем, посмотрев в окно, сказал:

- Видишь, там за забором растет огромная сосна. Так вот, на нижнем ее суку я тебя повешу.

- Как, Герберт, меня, за что? – недоумевал я.

- Еврей должен быть уничтожен, – спокойно ответил Герберт.

Я после этих слов сник, как проколотый надувной шарик. Кто - кто, но я такого от Герберта не ожидал, все эти, проведенные вместе годы, не давали к этому повода.

- Герберт, ведь мы товарищи, друзья, ты даже спас мне жизнь.

- Да, – ответил Герберт, – друзья, но только здесь, а там все станет на свое место, – это он сказал четко по-русски и умолк.

КОНСТАНЦИЯ

Июльская жара в Ленинграде особенная: густая, влажная, липкая. Все до предела раздеты и расстегнуты. В такое время даже в помещении трудно дышать, а в трамвае – сущий ад, особенно в часы пик, когда он до отказа набит распаренными и вспотевшими телами. Я ехал, прижатый к задней стенке, и с удовольствием ловил тонкую струйку сквозняка, дувшую из щели в окне. Сквозь людскую массу в мое направление с трудом пробивалась какая-то симпатичная девушка, судя по всему, иностранка. Все было в ней нездешнее: и правильный овал лица на высокой красивой шее, и непривычная для нас белизна ровных зубов, и густые каштановые волосы, и нечасто встречающиеся зеленые глаза. Поправив сбившуюся блузку и пригладив волосы, она обратилась по-французски, но мое знание этого языка ограничивалось лишь парой десятком слов и несколькими фразами. Она перешла на английский, но уверенней я себя чувствую в немецком. Ее немецкий был литературным, без заглывания конечных букв, без диалектологических особенностей и хорошо понимался. Незнакомка пыталась выяснить, как добраться до общежития одного из институтов, которое летом было превращено в гостиницу, где и остановилась ее туристическая группа. Мы познакомились. Ее звали редким именем Констанция. Она – студентка Сорбонны, увлекается историей античного театра. Конечно, была в Греции и Италии. Отец – пастор, она верующая католичка. Мое имя Констанции, конечно, было незнакомо и непонятно, такое ей никогда не встречалось и она вопросительно посмотрела на меня. «Ih in ein flugter Iude» - проклятый еврей, объяснил я. Она растерялась, на такой поворот событий не рассчитывала, смутилась, между нами возник невидимый барьер, продолжавшийся мгновение, но весь остальной путь мое имя Констанция как-то ухитрялась не упоминать. Или мне это казалось. В остальном никакая даже маленькая тучка над нами не сгущалась. Констанция была плотно прижата ко мне толпой. На повороте трамвай качнуло и, чтобы сохранить равновесие, она охватила меня рукой. Ее голова приблизилась к моему лицу, и я почувствовал тонкий горьковатый запах ее рыжеватых волос, ее тела. Он пробудил во мне какое-то изначальное животное чувство, восприятие окружающего мира через запах. Это волновало и манило, хотелось его вдыхать еще и еще.

Давка и духота в вагоне стали невыносимыми, и Констанция предложила идти пешком. К тому же она хотела поближе познакомиться с городом. На остановке я выпрыгнул и подал ей руку. Выйдя, Констанция облегченно вздохнула, поправила волосы и улыбнулась, радуясь свободе и свежему воздуху, и мы зашагали, однако, мою руку она так и не выпустила. Мы шли, взявшись за руки. В то время это принято не было, и над нас обращали внимание. Констанция была одета просто, но со вкусом. На ней была красная расклешенная юбочка, легенькая без рукавов белая блузка, белые туфельки на каблукках и небольшая сумочка. Все это ей шло, Констанция смотрелась, и встречные мужчины постреливали по ней глазами. Всю дорогу она была оживлена и что-то щебетала, путая немецкие и французские слова, иногда, взмахивая моей рукой, намеренно задевая прохожих, озорно смеясь. Ей явно было хорошо и беззаботно.

Нашу жизнь она не могла понять, что и не мудрено. Констанция восхищалась роскошью ленинградских дворцов и богатством музеев, сравнивала их с французскими, но недоумевала убожеству магазинов, неумению красиво и модно одеваться. Совершенно не понимала, почему продавцы в продуктовых магазинах экипированы в белые, но ужасно грязные халаты, о которых, не стесняясь, вытирали замусоленные руки. Констанция с большим удивлением следила, как они совком насыпали сахар, крупу или соль в ловко свернутые бумажные кульки, которые взвешивали на чашечных весах с металлическими гирьками. Она даже подержала их в руке, а чашки по-детски пальчиком колыхнула и рассмеялась. Но совершенно была поражена расчетом за покупки, когда продавцы громко щелкали костяшками счетов. Такой вид счета переносил ее в века, когда время определялось солнечными часами, а месяцы – лунными фазами.

Останавливаясь у витрин, Констанция доверчиво прижималась к моему плечу, и я ощущал приятную бархатистость ее кожи. Одна из прохожих глазами указала на беспорядок в туалете Констанции, на что та рассмеялась. Кружева, выступающие изпод юбки, – это дань современной моде, к тому же они дорогие, голландские.

Болтая обо всем, мы, конечно, не обошли и наши литературные вкусы. Констанция была приятно удивлена тому, что я знаю Ронсара, его прекрасные стихи, особенно «На смерть Мари». Этого замечательного, но полузабытого поэта, во Франции даже интеллигенты не всегда знают. Мой авторитет в глазах Констанции вырос.

Я полюбопытствовал, как она догадалась, что я смогу ей объяснить, где находится ее общежитие. На что она загадочно улыбнулась: «Так было задумано там», – и Констанция подняла кверху зеленые глаза.

Разговаривая, мы незаметно добрались до гостиницы. Лицо Констанции светилось удовольствием и счастьем. Она пробудет в Ленинграде еще неделю, и мы ее, конечно, проведем вместе. Завтра на очередную экскурсию она с группой не поедет. Ее гидом буду я. Мы поедем в Петергоф, а вечером – в Мариинку или, что даже лучше, будем бродить по ночному Ленинграду, любоваться белыми ночами, посмотрим, как разводят мосты над Невой. Констанция сочиняла планы, один – лучше другого, не подозревая, что ни одному из них не суждено осуществиться. Буквально через несколько часов я должен уехать в экспедицию на далекое и холодное Белое море, и показал Констанции железнодорожный билет. В первую минуту она это как-то не восприняла, возможно, не совсем поняла, но потом осознала неизбежность разлуки. Счастливое выражение ее лица стало быстро таять, оно помрачнело, даже как-то потускнело, на лбу прорезалась грустная морщинка. Констанция прямо на глазах из веселой девчонки-хохотуни превратилась в женщину, отягощенную житейскими неурядицами. Мы стояли и молчали. Это были наши последние совместные минуты. Констанция снова взяла меня за руку и прижалась к моему плечу. Я приблизил ее голову и погрузил лицо в густые рыжеватые волосы. Подошел мой трамвай. И ушел. Мне не хотелось расставаться с Констанцией. Я хотел и завтра видеть ее зеленоватые глаза, слушать не всегда понятную смесь французских и немецких слов, вдыхать горьковатый запах ее волос. Чего лукавить, Констанция мне нравилась. Подошел второй трамвай. И тоже ушел.

Мы стояли и по-прежнему молчали. Каждый по-своему пытался растянуть быстро сокращающееся время, как-то обмануть его. Подошел третий. Дома у меня невпроворот незаконченных предотъездных дел, время поджимало. Констанция умоляюще посмотрела на последнего входящего в вагон пассажира. Я едва успел вскочить на подножку, набирающего скорость, трамвая. Констанция стояла неподвижно. Трамвай завернул за угол дома...

Время, проведенное с Констанцией, в моей жизни заняло всего несколько часов, но воспоминания о них каждый раз вспыхивали радостным солнечным зайчиком, приятно озаря серые будни повседневной жизни.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мотька	3
Нина	4
Мишка	7
Суля	9
Люся	10
Герберт	12
Констанция	14

Редакторы:

Давид Генделев, Дмитрий Цвибель